

ОУИ НБ МГУ №1986

После освобождения. Второй срок

<https://oralhistory.ru/talks/orh-1986>

6 мая 2016

Собеседник

Григорьянц Сергей Иванович

Ведущий

Петров Сергей Геннадьевич

Дата записи

Беседа записана 6 мая 2016 и опубликована 13 ноября 2018.

Введение

Седьмая беседа с правозащитником и коллекционером Сергеем Григорьянцем, как и предыдущие, начинается с дополнений. К истории тюремного заключения Сергей Иванович рассказывает эпизод о подлом поведении врача, которая не давала заключенным жаловаться на скудость питания, а так же жуткий эпизод гибели заключенного от рук сокамерников. После освобождения Григорьянц долго искал подходящий дом за пределами Москвы, а поселившись в Боровске, начал издавать подпольный «Бюллетень В» — правозащитное издание, выходившее три раза в месяц. Ему удалось учесть недостатки предыдущих подобных изданий и выстроить строжайшую систему конспирации, при которой никто из участников процесса не общался друг с другом, а все материалы хранились в тайнике боровского дома. Бюллетень успешно выходил почти год, после чего Григорьянц был снова арестован (при обыске тайник так и не был обнаружен). После суда Сергей Григорьянц был приговорен к новому семилетнему тюремному заключению.

Сергей Геннадьевич Петров: Давайте тогда нашу очередную беседу мы начнем с того, что продолжим. Продолжим рассказом о тех эпизодах, о которых вы не рассказали в прошлый раз, а именно о Верхнеуральской тюрьме.

Сергей Иванович Григорьянц: Да, дополнения к Верхнеуральску. Ну, во-первых, я думаю, что важно, например, рассказать, как происходили... Ну, это действительно были карцеры, где температура была не ниже нуля, кроме вот этого первого раза, но где был лед просто на стене под окном. Но, по крайней мере, это был чудовищный холод. А я, значит, был в этом — ну, как и все, собственно говоря, — трикотажном костюмчике. Плюс к этому еще никогда не приходивший в себя по-настоящему от голодовок. В десять часов вечера опускали доску, которая изображала из себя возможную постель, на которой можно было спать.

С. П.: А называлось это шконка, да?

С. Г.: Нет, это не шконка, это... Шконка — это в зоне, это обычная... А это вот именно доска в карцере, которая опускалась на восемь часов. Вот, и я застегивал куртку доверху над головой так, чтобы голова была внутри куртки, поджимал руки, подтягивал по возможности к груди колени и вот так, нагревая пространство внутри куртки своим дыханием и, конечно, измученный тем, что до этого шестнадцать часов надо было проводить на ногах или в лучшем случае на такой вот квадратной табуреточке, обитой железом, на сколько-то часов засыпал.

” Часа через три начинала бить дрожь — так, что меня било просто всем телом о эту доску. Я волей-неволей просыпался, делал несколько шагов и какую-то микроскопическую разминку по камере и потом опять вот так вот закутывался в эту куртку. Обычно это происходило раза три за ночь.

Ну, а днем, как я вам говорил, вспоминал стихи и «развешивал в квартире картины». Тем не менее, не всегда, кстати говоря, все эти десять новых камер бывали уж очень опасными и очень зловещими. Собственно говоря, самым серьезным... Это вот, понимаете, довольно трудно объяснить человеку со стороны. Когда-то это сказал, не помню, чуть ли не Ганди: «Бойся человека, который старается сделать тебя виноватым: таким образом он старается приобрести власть над тобой». Ну, это делается с помощью бесконечного количества мелких зацепок: агрессивным тоном, где какое-то не так сказанное слово, где какая-то не совсем точная интонация вдруг оказывается твоей виной. И это все набирается, набирается, набирается. У меня был такой один сосед в ярославской зоне. Но у него ничего не получалось. Ну, во-первых, это все-таки колония, а не камера, где ты один на один. А во-вторых, я человек, довольно спокойно относящийся к самому себе и поэтому легко соглашающийся с тем, что да, наверно, вот это было не совсем точно. А поэтому... А поскольку все поодиночке это является мелочью, то на самом деле очень важно вот накопить это. А у меня не накапливалось. Ну, и, как я уже сказал, такой же человек в Верхнеуральске, может быть, добился бы чего-то большего, если бы действительно рядом не было камеры, где были воры. Ну, то, что он был неправ, было вполне очевидно, но главное, был неправ уже в том, что я ему говорил, что давай спросим, а он отказывался. А это уже сама по себе...

Вот. Бывали люди довольно, ну, не знаю, безобидные. Скажем, однажды у меня был сосед, который до этого работал в цирке где-то в Средней Азии. Это был передвижной цирк с хищниками. По-моему, с парой львов, кажется, с тигром, еще что-то такое, и вот он должен был их кормить. За что... По-моему, все-таки сел он за кражу какую-то, сделанную на стороне.

С. П.: То есть не за мясо, которое он там...

С. Г.: Да, все-таки не за мясо, которое, конечно, он все продавал, которое должно было идти этим львам и тиграм. Раз а три сам со своим помощником и приятелем вылавливал в степи бедных осликов. Это было время, когда в Средней Азии жители заменяли осликов мотоциклами. А осликов просто выгоняли. И вот они убивали осликов и кормили этих львов осликами.

Нет, ну, вообще, понимаете, вот это вот... Это, если вы когда-нибудь внимательно посмотрите письма Даниэля из лагеря, из тюрьмы и даже если просто подумать над тем, что, конечно, совершенно недостойно говорил Синявский, точнее даже, написал в своей статье в «Литературной газете», когда его впустили в Советский Союз: он написал, что самые счастливые годы он провел в зоне. Это было, с одной стороны, совершенно несправедливо и неправильно и недостойно, потому что в это время люди сидели и боролись за их освобождение, а тут он рассказывает о том, какое это счастье — быть в советской тюрьме или лагере. Но, с другой стороны, как литератора я его очень хорошо понимаю. А уж у Даниэля — так это просто письма переполнены восторгом от житейских историй, поразительного языка, каких-то присказок, ну, я не знаю, типа: «Ну, а что с него взять — сирота, ни отца, ни матери, ни стыда, ни совести», — и таких присказок в лагерях и тюрьмах сотни. Поразительной совершенно точности и красоты просто языковой. И поэтому ведь я тоже вот, вернувшись из Верхнеуральска... Ну, я, правда, писал это иначе. Для меня была очевидна близость коммунистической идеологии и психологии к уголовной. Я в первую очередь писал и о уголовниках в революционном мире. Там же их всех освободили. И ЧК наполовину состояла из уголовников просто. Ну, а потом и вовсе было замечательное советское время, когда их объявили классом близкими, был целый поток литературы об уголовниках. Роман «Вор» у Леонова, там, написанные на фене стихи Сельвинского, там повести Катаева, Каверина... Ну и так далее. Это я уж не говорю о пьесе Погодина. В общем, все это было сплошной такой поток. И меня это очень интересовало, привлекало, но одновременно и лагерные наколки, чего в нормальном мире тогда не было совсем, — в лагерях они были очень символичны. И я привез еще, выпросив у некоторых из своих соседей, их лагерные тетрадки со стихами, со стихами и песнями. Ну, в общем, понимаете, это действительно поразительный по богатству мир, действительно какой-то русский мир, о котором мы не имели никакого представления, совершенно другой по психологии. С другой стороны, это, по-видимому, мне еще и помогало, потому что мои соседи — что в Чистополе, что в Юдово, вот в этой колонии под Ярославлем, — видели, что мне действительно реально интересно. Мне действительно было очень интересно. И им было интересно. И это тоже очень улучшало... Ну, при том, что совсем разные люди, совсем разные, в общем, это улучшало отношения. Вот. Но, кстати говоря, никто не написал... Вот сейчас очень много литературы — масса людей попала в зоны — очень много всякой лагерной литературы, очень много описаний, но это

все написано близкими к этой среде людьми. Иногда наивными, иногда удобно устроившимися, иногда — ну, как вам сказать? — считающими, что это все правильно, и с необычайной рекламой этого уголовного мира, который, в общем, сейчас растекся по всей России. Ни один из профессиональных литераторов так и не смог написать.

С. П.: Ну да, то есть не было погружения. Вот у кого-то не было погружения, а кто-то...

С. Г.: Нет. Даниэль не смог написать, потому что он был абсолютно честный человек, писать полуправду он не хотел и писать правду он тоже не хотел. Он внятно понимал... То есть, ну, вот он перечеркнул на самом деле свою литературную судьбу, потому что... О чем он мечтал просто — и это видно по письмам. Потому что вот он решил, что о характере их суда, о его положении в этом мире и о роли Синявского он говорить не хочет и не будет, а без этого все остальное более-менее повисало в воздухе, потому что он не был посторонним очеркистом. Ну, у Синявского другое — он как бы использовал часть этого словаря, но из этого надо было делать выводы, а вот этого он опять-таки не хотел. Вот.

Ну и, наконец, была довольно важная черта, о которой я сказал, когда говорил о своем аресте и о Матросской тишине. Там я сказал, что только через год я вдруг понял, что на самом-то деле мне же все время предлагали выйти на волю, а я об этом даже не думал. Вот я никогда этого не... Ну, вот это никогда не входило в мое сознание. Для меня была неприемлема та плата, которую у меня просили, и только это я обдумывал. Но в Верхнеуральске, в общем, как ни странно, это было так же. Но это уже была выработанная твердость и жесткость. Однажды в карцер пришел начальник тюрьмы Кузнецов. Не в тот раз, когда меня спрашивал о Саце, а вот как бы просто так зашел ко мне и сказал: «Ну вы же понимаете, что все это со временем скажется?» Ну, имея в виду здоровье, по-видимому. А я понимал, что это скажется, но каждый раз я решал какие-то вот конкретные задачи: как наладить отношения с соседями, как вести себя с врачами. Я, по-моему, не договорил — я мельком сказал о молодом враче...

С. П.: Женщина была молодая.

С. Г.: Да, которая меня перевела из чудовищного этого карцера ледяного, когда я действительно сходил с ума, в чуть более теплый. Не сказал я о другом враче. Сейчас скажу, но сначала договорю то, с чего начал. Я вот решал какие-то вот эти свои [задачи], но я никогда не обдумывал вопроса о том, что можно с ними договориться — и все это прекратится, господа. Потому что все... Ну, это было очень откровенно. Меня ни разу — ну, вот уже едва дышащего — не сажали в карцер, ну, действительно по какому-то поводу серьезно. Это всегда была какая-то придирка. Ну, ясно показывалось, что в любой момент они готовы это прекратить.

Я сказал, что Верхнеуральск вообще был не такой простой тюрьмой — более нарядной как бы, более аккуратной. Как говорили, там когда-то держали немецких генералов, в том числе и попавших в плен под Сталинградом, в том числе и фельдмаршала — как его? Забыл. До этого там, кажется, был советский министр юстиции, начавший свою карьеру с того, что как раз какие-то отряды подводил к Зимнему дворцу, и я с удовольствием думал, как его загоняли под шконку уголовники.

Ну, я уже говорил, какой образцовой там была больница, куда я вначале попал. И командовала этим всем очень странная, все еще очень красивая, лет сорока женщина, которая иногда делала мне уколы хлористого кальция, когда я уже совсем не мог двигаться. Они так тонизируют. И при этом рассказывала: «Да, это вот мы, земские врачи...» А когда приезжала какая-нибудь комиссия и несчастных этих мальчишек, которые хотели пожаловаться, в первую очередь на еду, потому что это действительно была очень голодная тюрьма... В разных тюрьмах были разные средства давления на заключенных. Я уже рассказывал о Балашовской тюрьме, где мой сосед объяснял, что он покончит с собой, если туда попадет. Там был очень жесткий режим, при котором нельзя было закрыть глаза, при котором...

С. П.: Да.

С. Г.: Да, а тут был просто голод. Необычайно такой вот... Все было очень чисто. Все было замечательно так вот аккуратно, и тем не менее именно это было основным... И, конечно, многие писали жалобы. Все-таки писали жалобы, жаловались. Приезжали какие-то комиссии, и, когда, поскольку питание входило в прямое ведение врача, при враче расспрашивали этих жалобщиков, эта сорокалетняя баба так вот поднимала у себя на ноге юбочку, показывая довольно высоко ногу, и мальчишки совершенно теряли способность что-то говорить и уже глаз отвести от этого не могли.

С. П.: Таким образом она срывала эти жалобы, получается?

С. Г.: Да.

С. П.: Изощренный способ.

С. Г.: Но поскольку мне о нем рассказывали многие, то, по-видимому, у нее это был отработанный прием. Ну вот.

С. П.: А вот вы еще рассказывали, что была история про отрицательного авторитета так называемого. Какой-то молодой заключенный, который выполнял все требования, но при этом не шел на сотрудничество с тюремными властями.

С. Г.: Да. Его убили просто. Он не был авторитетом. Он был просто. Ну, понимаете, в тюрьмах, как и в зонах, таких более-менее по уголовной терминологии «правильных» и не «красных», есть авторитетные эки, которые очень жестко придерживаются воровских понятий. Ну, есть так называемые «мужики» — люди, которые не сотрудничают с администрацией и стараются подальше держаться от воровского мира. Ну вот, по-видимому, этот парень... Я не сидел же — я же вам говорил, я же ни разу не был ни в одной рабочей камере. Меня туда не сажали. Но так, по описаниям, это был такой вот парень, который держался достаточно независимо, которого никак не удавалось ни заставить сотрудничать с оперчастью, который не искал, в общем, особенной поддержки в уголовной среде, ну, который, ну, просто был вот — выполнял свою норму и которого — ну, по-видимому, достаточно здоровый для этого парень, поскольку нормы были вот такие легкие, — но дело в том, что бригадир в каждой камере рабочей так или иначе всегда вел какие-то игры с администрацией: на кого-то стучал, на кого-то там, — ну, в общем, находил общий язык. Вот, а этот парень, что бывает в тюрьмах и бывало, достаточно плохо и к этому относился. Его сильно не любили за это, из-за его независимости. Ну,

действительно за три дня... Я же рассказал это...

С. П.: Не под запись просто. Поэтому... Решили, что запишем потом.

С. Г.: Ну, и действительно ему оставалось уже три дня до освобождения. И, конечно, это было совместное решение оперчасти и бригадира и какого-то человека при нем (а так в камерах всегда бывает — бригадир, как правило, не один: у него там есть два-три приближенных). А перед освобождением решили его проучить. Решили его проучить и дать тем самым еще и, как всегда в таких случаях бывает, понять другим, что так не надо себя вести. Вот, и его хотели изнасиловать. Его хотели изнасиловать, и то, что его... По-моему, эту камеру выводили куда-то в цех. То, что его оставили в камере перед освобождением, было более-менее естественно, но вместе с ним оставили троих наиболее злобно к нему относившихся и решивших, что втроем они с ним справятся. И тут оказалось, что они не могут с ним справиться. Что он отбивался так, что, для того чтобы уже спастись, один из этой троицы, а может быть, и двое вытащили спрятанные то ли ножи, то ли заточки, — в общем, это почти всегда бывает в камерах — и начали бить его этими ножами. И убили. Добили до того — уже не могли остановиться, там было чуть не сорок ударов, — что, когда через три дня приехала мать встретить сына, ей сказали, что, если она напишет дополнительные заявления, поскольку он умер в тюрьме, то, может быть, в управлении разрешат его похоронить. А так он будет в общей лагерьной яме. Ну, это, надо сказать, вызвало в тюрьме тогда довольно большое волнение. Какие-то камеры начали голодать, какие-то камеры начали писать жалобы. Ну, было совершенно очевидно, что это произошло если не по заказу, то по крайней мере с санкции администрации. Тем более что даже оставить четырех человек из бригады — обычно эти бригады были человек двенадцать — ну, кто ж работать будет, простите меня. Но насколько... То есть я не знаю, привело ли это хоть к каким-нибудь результатам — все эти жалобы и все эти голодовки. Потом я расскажу о человеке более страшном, с которым я сам встретился. Но это уже будет, когда я шел этап после второго ареста.

Впрочем, об избиениях я вам рассказывал, по-моему. О человеке, который мне объяснял, что он всегда будет нужен.

С. П.: Нет, что-то я такого...

С. Г.: Ну, со мной-то, в общем, никогда ничего не происходило. Как-то всем все время не я был интересен, в общем. И однажды, когда меня... Ну, и я в свою очередь опять-таки при том, что меня постоянно гоняют из одной камеры в другую, знал массу людей. И однажды меня выводил из карцера молодой такой здоровенный мужик, о котором я, в общем, уже многое знал: знал, что он садист, что он избивает эзков в камерах. Он мне еще с гордостью сказал, что и его отец, и его дед даже работали в этой тюрьме. И когда я его спросил: «Вы не боитесь? Что-нибудь переменится — ведь вам это вспомнят», — причем это довольно серьезный вопрос, понимаете, потому что, ну, Верхнеуральск был все-таки городок и городок вокруг тюрьмы, но, скажем, в поселках рядом с зонами, где жили охранники, многие из них боялись. Боялись, что кто-то вернется. Что-то кто-то не забудет. Хорошо, если это очень далеко на севере, куда добраться трудно. А если туда добраться можно? Ну, и просто к тем, кто был охранником, всегда относились очень плохо все окружающие, потому что половина молодых людей была в армии, а половина сидела. Вот. Так что тут было, о чем спросить, но он мне очень самодовольно сказал: «Нет, это вот у Кузнецова, — начальника тюрьмы, — могут быть какие-то неприятности, если что-нибудь переменится, а такие, как я, всегда будут нужны».

С. П.: Ну, в общем, как в воду глядел, можно сказать.

С. Г.: Да, в принципе, хорошо понимал характер... Вот, значит, единственное, что мы можем сейчас — или можем позже — сказать о том, что, поскольку я выжил... А у меня, понимаете, кроме того, что я действительно никогда не думал о том, чтобы с ними договариваться (не знаю, к чему бы это привело, если бы я начал обдумывать, но я не обдумывал), у меня никогда не было страха смерти. Я всегда понимал, что это где-то рядом, может быть. Но у меня вообще его нет. Такая генетическая особенность. И в результате... Да, потом я еще пять лет провел в Чистопольской тюрьме, потом — полгода, правда, — в Перми из этих пяти лет и год под следствием в Калуге. Ну, в общем, на самом деле именно Верхнеуральск с этими карцерами каждый месяц, с этими постоянными намеками о том, что я не выйду совсем, — я понимал, что это вполне реально, — но, в общем, на самом деле оказался совершенно поразительной школой, которая, конечно, была и у других, но они или погибли, или вышли инвалидами, но, во всяком случае, никто из них не был активным участником общественной жизни. А те, кто не принимали участие, прошли лагеря как-то совсем иначе, совсем, гораздо проще.

С. П.: Вы говорили, что без тюремного заключения, да, в основном?

С. Г.: Ну да, ну, понимаете, Чистопольская тюрьма, она вообще была совсем другой, чем Верхнеуральская. Это было совершенно... Я расскажу об этом, конечно. Там тоже было много всего не бог весть какого, но это была тюрьма, где все-таки все становилось известным, но, в общем, где не убивали — за редким исключением. Точнее, убивать начали только тогда, когда речь зашла об освобождении — наступило новое время.

С. П.: К этому мы вернемся тогда в одной из следующих бесед.

С. Г.: Да, конечно.



Лично мне на самом деле именно Верхнеуральск с его школой чудовищной — такой тюремной, волчьей — и оказался определившим и то, что я делал в дальнейшем, и то, как я делал это.

С. П.: Когда вы это поняли? Вот мы с вами в прошлый раз остановились на том, что вы остановились в гостинице и провели там несколько дней, приходя в себя.

С. Г.: Я это понял вчера. Нет, серьезно.

С. П.: То есть осознание этого у вас пришло, можно сказать, только сейчас.

С. Г.: Да, когда я впервые начал все это пересказывать. Больше того, до этого (у меня это даже в какой-то статье есть) удивление по поводу того, что я, вполне все осозная, уже живя в Боровске, начал редактировать «Бюллетень В», точно понимал, что это кончится арестом и что арест для меня, скорее всего, — это смерть, а я не такой героический человек, я же не... я сам не понимал, почему я так, совершенно не задумываясь, тут же принял это решение.

О начале правозащитной деятельности

С. П.: То есть инстинктивно, можно сказать, это произошло?

С. Г.: Нет, не инстинктивно. Я даже не думал об этом. Ну вот мне было рассказано, что вот Ивана Ковалева и Лешу Смирнова посадили, что Тольц решил уехать в эмиграцию (ну, которому сказали, что иначе его посадят) и что последнего информационного источника для мира о положении в Советском Союзе уже не будет. Ну, «Хроники текущих событий» уже не было. Вот, и я, совершенно ни минуты не думая (и главное, это все оставалось и дальше), сказал, что я буду редактировать «Бюллетень-В», что надо сохранить хоть что-нибудь, а тут ведь, понимаете, надо сказать, даже для нормального человека, которого не ненавидят так, как, в общем, не любили уже меня, и о котором гораздо меньше знают, чем знали обо мне (и, соответственно, все это можно использовать)... Вообще, идти второй раз в тюрьму очень тяжело. Гораздо труднее, чем в первый. Первый ты идешь — ну, ты еще не знаешь, куда. Все рассказы — это такие общие представления. А большая часть людей, которые вот стали покаянцами, которые отказались, потом давали какие-то показания, были как раз из тех, кто уже сидел.

С. П.: Не хотел второй раз.

С. Г.: Это и Петр Якир, это и Красин, это и отец Дудко. Ну, в общем, список можно продолжать. Не то что не хотел... Ну что значит — хотел — не хотел? Никто не хотел. Просто вот ну у него внутри уже был такой ужас, что он был не в состоянии его перебороть, — и дальше уже можно было манипулировать, пугая его. Я рассказывал, вот как тряслись руки и ноги у Николая Павловича Смирнова, когда он давал показания. Что вот ему сказали, что он поедет туда же, где он был... Это довольно обычная история. И я думаю, что это тоже результат жесткости... Ну, знаете, это как в лагере считается очень важным не суетиться, а вот стоять на своем месте. Вот это было как раз в Верхнеуральске.

Возвращение из тюрьмы

Ну вот, ну что, ну, после этого я вернулся.

С. П.: А вот как вас, я не знаю, встречали-то — громко, конечно? Ну вот вы встретились со своими старыми знакомыми...

С. Г.: Нет.

С. П.: Какие-то были разговоры, вам задавали вопросы?

С. Г.: Ну, мне, в общем, тут же мне начали помогать три человека. Это был Саша Морозов, литературовед, который вот ездил и с моей матерью ко мне в зону (ну, я не знал тогда этого). Это был Леня Глезеров, который вообще начал возиться со мной как с писаной торбой. Он был учеником жены (говорят, что она была поразительной женщиной, поразительным педагогом)... Как его... Автора книги «Новый Дон Кихот»¹ — о лагере. Забыл фамилию. Все ее ученики были совершенно замечательные. Вот, ну и Миша Айзенберг, у которого, собственно говоря, мы и встречались, которого вы, вероятно, тоже знаете. Ну, мне не хотелось бы повторяться, понимаете, потому что в это время меня занимали две вещи. Об одной я рассказал очень подробно. Это было то, что связано с Шаламовым, которого для меня нашли... Ну, и второе — у меня был, как выяснилось, надзор. То есть мне запрещалось жить в Москве и Московской области. Ну, и мне, значит, в течение там пары месяцев надо было (это был максимальный срок) найти себе жилье где-то. Раньше это было бы сто километров. Теперь это, значит, за пределами Московской области. Но Московская область — она не точно, она примерно на сто километров, кажется, во все стороны.

¹ Имеется в виду книга Ю. Айхенвальда «Дон Кихот на русской почве». Chalidze Publications, 1982. Жена Ю. Айхенвальда — Валерия Михайловна Герлин (1929—2012), педагог, правозащитник.

С. П.: Приблизительно.

С. Г.: Да. Иногда чуть-чуть ближе, иногда чуть-чуть дальше. Сначала мне помогали Лара Богораз и Толя Марченко. И первое, куда я приехал, было Карабаново, где они жили. Толя был преисполнен надежд — в это время строил дом и говорил, что не может договориться ни с кем о стройматериалах, но вот мы будем ходить с тобой, они посмотрят на твои усы и сразу поймут, что они имеют дело с надежным человеком. Вот. Рассказывал мне альманахи «Метрополь». Поругивал Булата Окуджаву, который... Ну, в это время кто-то написал отказ. Я относился к Булату лучше, но и знал его просто еще по работе в «Юности». Но как-то мельком сказал, что ну да, ну, у Булата, может быть, это иначе. Параллельно с этим возникла тема о покаянии Шаламова, и я ему сказал, что у Шаламова совсем другое положение: у него ответственность за то, чего носителем он является, за свою... Для него главное — это сохранить и передать людям то, что он сделал, и это важнее, чем покаяние. Толя на меня с большим удивлением посмотрел, потому что для него как раз было совершенно неприемлемо, для него, для которого именно политическая позиция была главной, но не спорил. Не спорил, как не спорил, когда мне нравились совершенно почерневшие дома — они были очень красивые. Мы ходили по Карабанову, искали мне вот... А Толя — ну что, ну, вполне себе мужик, ну почерневший дом — плохой дом. Ничего в конце концов мы не нашли. Потом с Мишей... Нет, ну, во-первых, там я познакомился с Таней Трусовой и Федей Кизиловым и приезжал все-таки к Толе и Ларе не один раз. И это было очень забавно.

Слежка

Я помню, как мы... Лара меня встречала на железнодорожной станции в Карабаново, но, в общем, по-видимому, обо мне она ничего не понимала как следует. А там была пара — какой-то молодой человек и девочка, которые, увидев нас, тут же начали демонстративно целоваться, и было ясно, что это слежка. И Лара сказала: «Ну вот, опять они за мной установили слежку». Но дело в том, что следили за мной. Я до сих пор не знаю, то ли их так насторожило мое поведение в Верхнеуральске, то ли еще что-то такое. Но, когда я вернулся, за мной постоянно ходила наружка. Ходила за женой. Жену это страшно раздражало. Тем более что однажды там в наружке она увидела какого-то старого еврея с такими вот интеллигентными глазами — и [говорит,] что ну чего он пошел еще вот на такую должность. И продолжали запугивать... Вообще, наверное, они хотели чего-нибудь да добиться. Продолжали запугивать мою мать. Причем так, что однажды в метро два каких-то парня подхватили ее под руку [и сказали]: ну вот, если ты и дальше — с каким-то матом, по-моему, — так будешь себя вести, вот сейчас сбросим тебя под поезд, и никто ничего не узнает.

С. П.: А что ей-то можно было предъявить?

С. Г.: Они старались, чтобы мать меня убедила. И перед моим освобождением с ней провели беседу о том, что вот она должна на меня повлиять. Хотя как она на меня могла повлиять вообще — как будто я обсуждал вообще с кем-нибудь, что я делаю. Ну, в общем, давили буквально всех моих родных.



А за нами — так мы с Томой идем к дому, а где-то в кустах, прячась, бежит какой-то хмырь, не отставая, следит, не пойдём ли мы куда-то... Не знаю. Ну, в общем, бред какой-то.

С. П.: Да, действительно странно. Зачем было тогда скрываться? Это можно было делать и гласно?

С. Г.: Нет, это бывало и гласно. Это бывало и гласно, а бывало вот и так. И, в общем, конечно, это действовало на нервы. Вообще, понимаете, в наружке есть два типа. Есть, ну, такая как бы более-менее обычная, то есть действительно реально хотят узнать, куда человек идет, а чего там... Я, по-моему, что-то рассказывал о том, как было у меня до ареста и так далее. А бывает еще более противная — такая давящая, когда они не скрываются. Не скрываются, и вообще все это совершенно бессмысленно. А вот так, чтобы вот показать. Ну, правда, у меня было и два последствия того, что в Верхнеуральске я все-таки сидел в уголовной тюрьме. И в одном случае я абсолютно убежден в том, что это была какая-то вполне сознательная такая подстава со стороны ГБ. Я как раз возвращался из Карабаново на электричке из Александрова. И ко мне подсел какой-то уголовник. Ну, я же уже к этому времени был вполне опытный человек. Я с ним поговорил, поговорил — и по тому, как он вилял, по тому, как он чего-то себе приписывал, чего точно не могло быть, и так далее, я сразу понял, что он человек, ну, скажем, с плохой лагерной репутацией. Ну, а ко мне он относился с необычайным пиететом, потому что вот крытник, что-то мне предлагал, чем-то меня соблазнял. В общем, это было довольно бессмысленно, но однажды приехал парень из Армении, что я не знаю, было подготовлено или не было. Вероятно, я сам в тюрьме ему дал свои координаты, так что он знал мой домашний адрес. Пришел ко мне и начал довольно жестко мне говорить, что вот я же тебе помогал в тюрьме — укажи мне пару адресов.

С. П.: Чтобы их ограбить?

С. Г.: Ну, очевидно, да. Ну, становиться еще и наводчиком...

С. П.: Ну да.

С. Г.: Я точно не собирался, и, по-моему, этот человек мне особенно не помогал, а так — был где-то в каких-то соседних камерах, и все это было более-менее враньем. С некоторым трудом, но я от него отделался.

С. П.: А в чем заключалась подстава первого, вы говорите, который к вам подсел?

С. Г.: А первый явно меня пытался куда-то заманить.

С. П.: На какое-то дело, в смысле?

С. Г.: Нет, не на дело. Но куда-то выпить, куда-то развлечься, куда-то... Ну, как-то соблазнял меня так вот. Но, как вам сказать, у людей, у которых плохая лагерная репутация и потом они еще в лагере или в тюрьме, или еще где-нибудь живут с такой репутацией, это уже видно просто по интонации, по тому, что он говорит, как и так далее. А я уже это умел понимать. Ну, собственно говоря, это мало отличалось от многочисленных потом мне предложений со стороны ГБ, таких уже откровенных. В общем, все это совершенно одного ряда.

С. П.: А за многими из ваших знакомых следили? Точнее, многие говорили, что за ними следят?

С. Г.: Нет. Нет. В том-то и дело, понимаете. И уж во всяком случае я никогда не знал о людях, за которыми следили после того, как они освобождались. Ну, добро бы я сразу же начал... Ну, правда, ко мне пришел Юра Шиханович. Шиханович вообще от солженицынского фонда опекал мою семью. А я знал... Ну, это было все-таки еще 80-й год. В 80-м году «Хроника текущих событий» еще существовала кое-как. Я вышел проводить Юру к автобусной остановке, и именно вот потому, что у меня всегда было ощущение, ну, некоторой еще и обиды к тому же — вот еще пять лет сидел и еще к тому же ни за что, а тут у меня уже было точное ощущение, что на самом деле что-то делать надо, я тут же сказал Юре, что я хотел бы что-то делать для «Хроники», на что Юра на меня посмотрел и сказал: «Ну погуляйте хотя бы месяц» (*смеется*).

Поиск жилья после освобождения

И если вычленишь все дела, связанные с Шаламовым, второе дело у меня было — это поиски все-таки какого-то жилья. А тут была очень важная проблема. У меня действительно было... Я уже понимал, что у меня надзор. То есть мне будет объявлено время, когда я не могу быть на улице, время и места, куда я не должен ездить, ну и так далее, и так далее — какие-то условия надзорные. И в этой ситуации ни при какой погоде нельзя было снимать квартиру. Потому что, если ты снимаешь квартиру, ты на все сто процентов зависишь от квартирной хозяйки, к которой придет участковый — и она охотно скажет, что ты, вот которому разрешено быть на улице до восьми часов вечера, пришел в девять или в десять.

С. П.: А у вас были такие условия? То есть вам было разрешено именно так вот...

С. Г.: Да, у меня был, по-моему, какой-то надзор не такой жесткий, кстати говоря, но дело не в этом. Нет, надзор объявляют уже тогда, когда уже по месту жительства, понимаете.

С. П.: То есть...

С. Г.: Каким он у меня будет, я не знал.

С. П.: А, то есть, в общем, понятно.

С. Г.: Но то, что он, поскольку у меня на справке об освобождении стояло «подлежит документированию по месту прописки», а я знал, что значит этот штамп...

С. П.: То есть именно вот этот надзор тогда?

С. Г.: Да. То я... Именно так до этого был второй или третий раз посажен Толя Марченко. О котором спокойно сказали, что в неполаженное время был на улице и чуть ли не поздравил участкового с Первым мая. И это особенно возмущало Толю. «Господи, ну уж поздравлять-то я!.. С каким Первым мая!» Участковый был одним из свидетелей.

Ну, в Карабаново мы ничего не нашли и с Леней Глезеровым приехали в такую деревню — Осоки. Это еще ближе к Москве. То есть в этом смысле еще выгоднее. Вот по дороге в Александров. Тоже ходили по деревне, спрашивали, не продается ли какой-то дом. Было очевидно, что я могу только купить. То есть я сам должен быть хозяином.

С. П.: Чтобы не было той самой хозяйки?

С. Г.: Да, чтобы не было той самой хозяйки.

” И что было в Осоках, я уже не помню, кроме того, что по этой маленькой деревне за нами с Леней ездила черная «волга», вся утыканная антеннами.

С. П.: Ничего себе.

С. Г.: Да. Я не знаю, чего они от меня ждали такого, чтобы...

С. П. (смеется): Деревня Осоки!..

С. Г.: Да, деревня Осоки, господи, там одна улица, по-моему. И мы, значит, заходим то в один, то в другой дом, а они нас ждут (смеется). В общем, все это было очень смешно. В конечном итоге — я не помню сейчас уже, каким образом, но, по-моему, через кого-то — я связался с директором совхоза. Тоже где-то вот здесь же вот, в Александровском районе. Который решил, что ему это будет очень выгодно. Или, по крайней мере, говорил так. Я с ним поговорил что-то такое, ну, мельком сказал, что может быть, какие-то лекарства смогу достать. И в этом совхозе был найден для меня дом, но я, поскольку у меня была «сто девяностая прим», должен был получить обязательно разрешение у председателя райисполкома. Я не мог просто купить. Я пришел к нему, по-моему, как раз с Леней Глезеровым, который просто заботился обо мне, как о ребенке, и этот начальник, председатель райисполкома, стал мне говорить, что нет, снимайте, чего вам покупать, снимайте, никаких проблем, хоть в Александрове, хоть в любом другом месте. Ну, объяснять, почему я не хочу снимать, я не могу снимать, я не стал, а он понимал, для чего он мне советует снимать. Я говорю: «Да нет, мне я уже нашел дом вот там-то... Я уже договорился с директором совхоза». Он тут же набрал его телефон, и директор совхоза ему сказал: «Да, мы уже договорились, и я хочу, чтобы он там вот жил в нашей деревне». На что председатель райисполкома начал вопить: «Да вообще где ты видел армян, которые работают?! И зачем он тебе нужен?!» Но этот самый директор совхоза упирался и настаивал на том, что нет, он хочет вот продать мне дом. Кончился весь этот крик вдвоем или втроем, значит, со мной и по телефону тем, что председатель райисполкома сказал мне: «В своем районе я вам дома не продам». Ну, на этом все мои...

С. П.: На него какое-то давление, видимо, было оказано сверху, да, уже?

С. Г.: Не знаю. Или давление, или вообще он считал, что вот не нужен ему еще один политзаключенный. И уже ездить в Александровский район было бессмысленно. Я был в некоторой растерянности, но тут приехал кто-то знакомый, кто бывал в Боровске, и сказал, что там на рынке висит объявление о продаже дома. И тогда я уже один очень осторожно, ну и, по-видимому, удачно, то ли уйдя от слежки, то ли в этот день ее не было — не знаю, но, в общем, очень осторожно, очень осторожно так поехал в Боровск. И тут в какой-то степени мне повезло. Мне показали этот домик, у которого умерла пару лет назад хозяйка. Хозяйка была замечательная огородница. Домик был маленький, всего в два окна, но был большой участок — пятнадцать соток хорошей земли — и очень хорошо возделываемой, со всяким множеством сортов там и крыжовника, и смородины, и малины, и чего угодно. И поэтому за этот дом хотели больше — и он был почти на берегу Протвы. И за этот дом хотели больше, чем он стоил. Ну, по крайней мере, по местным понятиям. Хотели с ним тысячу рублей и вот поэтому довольно долго не могли продать. Ну что, деньги у меня были, поскольку я продал что-то... (Я еще умудрился за эти два месяца съездить в Киев, а там же... Это был тоже один из доводов у гебистов — всю мою коллекцию в Москве конфисковали, а в Киеве у моей матери — нет, и они все объясняли: «Ну вот, вы же видите, как мы хорошо к вам относимся. Мы могли бы забрать, а вот не забрали».) Ну, в общем, я оттуда привез часть картин и рисунков, продал костюм Бакста,

продал маленького Малевича, еще что-то такое. В общем, у меня были деньги. И племянница этой покойной хозяйки тут же меня повела в милицию. А тут, к большой удаче, оказалось, что замначальника, по-моему, отделения милиции Боровска районного был тоже племянником вот этой вот покойной хозяйки. Ну господи, ну, маленький городок — там все родственники. И он тут же поставил мне в паспорт штамп о прописке в этом доме. Посмотрел, правда, на мою справку об освобождении, а у меня там, поскольку они ее ночью писали впопыхах, еще была и ошибка: вместо статьи «сто девяносто прим», то есть вот распространения антисоветской литературы и так далее, у меня стояла сто девяносто первая статья. А сто девяносто первая статья — это статья «Нанесение телесных повреждений сотруднику милиции».

С. П.: Ну, то есть как бы понятный такой человек вполне сидит.

С. Г.: И он, милиционер, на меня посмотрел — все еще едва вообще двигающегося и вообще хилого, и с таким сожалением спросил: «Ну какие телесные повреждения вы могли нанести сотруднику милиции?» На что я ему честно сказал: «Да нет, это ошибка, у меня на самом деле „сто девяностая прим“». А это его совершенно не смутило. Ему было все равно. Вот, и вообще мы и потом с ним оставались в довольно хороших отношениях. Ну, в общем, так я стал владельцем дома в Боровске.

Об изменении круга общения после освобождения

С. П.: Скажите, вот у меня такое сложилось впечатление, что до первой тюрьмы, до ареста у вас была такая вот среда, скорее художественная. То есть, там Харджиев там, я не знаю, Ахматова, Некрасов, Шаламов был после?..

С. Г.: Нет, Шаламов, конечно, до этого.

С. П.: Да, то есть Шаламов был до этого. Как бы, скорее, сфера интересов у вас была, скорее, искусство...

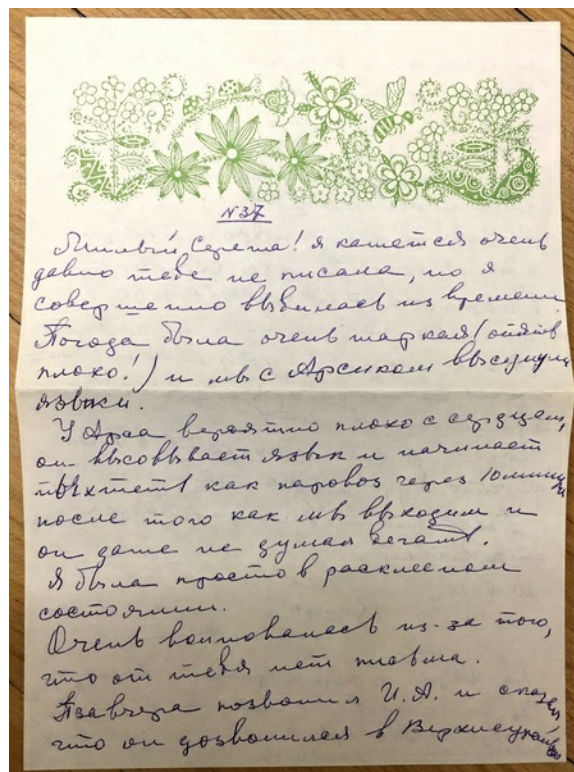
С. Г.: Ну, конечно.

С. П.: А вот после освобождения как-то вот у вас резко начались вот и Богораз, и Марченко...

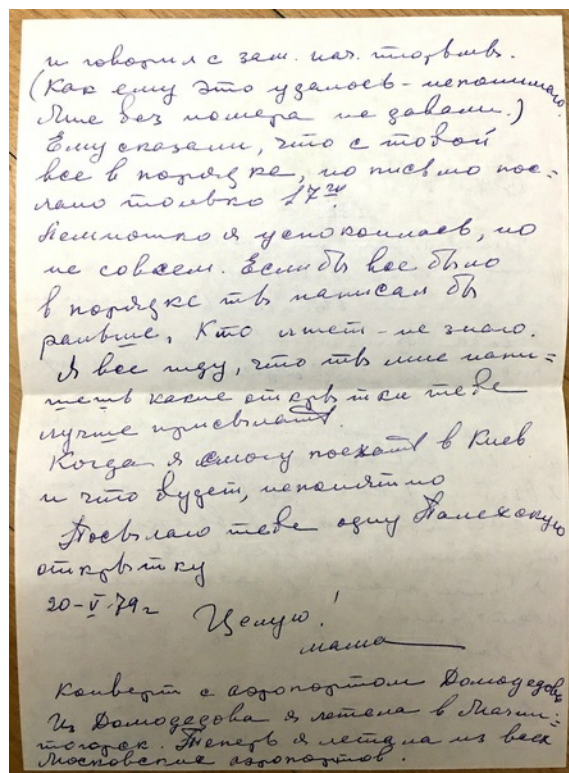
С. Г.: Ну, понимаете, во-первых...

С. П.: Была какая-то связь у вас между вот этими?.. Ну, то есть вы же были с ними знакомы до этого, с кем-то из этих?..

С. Г.: Ну, кое с кем был. Я был знаком с Наташей Горбаневской, которой я там напечатал... Ну, я, во-первых, действительно никогда ничем не занимался. Нет, ну, я был знаком с Володией Войновичем, я был знаком с... Некрасов, в конце концов, тоже занимался активной общественной деятельностью, но... Ну, во-первых, здесь что-то изменилось сразу же. Изменилось очень серьезно. Всего пересказывать я не хочу, потому что вот это будет в какой-то степени, там, в книжке, где речь идет о коллекционировании, еще что-то такое, но, в общем, из наших старых знакомых — вот из так называемых субботников — для меня довольно неожиданно, но тем не менее самыми серьезными оказались Вертинские. Николай Сергеевич наиболее уверенно и жестко, понимая, что он рискует, в общем, своим служебным положением и так далее, вел себя в суде, совершенно не колеблясь, как я уже рассказывал, но главное, Мария [Анатольевна] Фокина, его жена, она была вообще из... Ее мать, Мария Марковна, которая тоже принимала участие в наших «субботниках» и так далее, была урожденная княжна Старицкая, и жили они по-прежнему вот в угловых комнатах этого дома Старицких, где, кажется, сейчас делают музей Вернадского, а Вернадский тоже был женат на Старицкой. И вот Мария Анатольевна, она очень определенно и сразу же — так же, как, скажем, Игорь Александрович Сац из старых моих знакомых, который отродясь у нас не был, где-то на каких-то выселках на Ярославском шоссе — я вообще даже не знаю, как он нашел мой адрес, но тем не менее вот он в свои семьдесят лет набил в авоську апельсины и поехал к Томе с этими апельсинами, чтобы ее поддержать, и так же Мария Анатольевна — то есть даже в гораздо большей степени. Ну, правда, Игорь Александрович потом, как я рассказывал, просто спас мне жизнь, и это не преувеличение, я уверен. Мария Анатольевна, во-первых, обладала собственным личным опытом, о чем мы раньше никогда не знали. У нее был жених, кажется, арестованный — еще в 30-е годы, и она много месяцев провела в тюремных очередях с передачами, и, в общем, кажется, он так и пропал. Плюс к этому Мария Анатольевна работала в Библиотеке иностранной литературы. Библиотека иностранной литературы в это время была, ну, таким очень либеральным местом. И Мария Анатольевна иногда приносила «Хронику текущих событий», перепечатанную на листках, а тут сразу же познакомила Тому, то есть мою жену, с матерью Оли Иоффе и, в общем, сразу же связала с солженицынским фондом. Это тоже имело большое значение, и именно благодаря этому... Юдович оказался не лучшим, честно говоря, адвокатом. Но он все-таки был адвокат, который занимается такой, имеет допуск к такого рода делам. И, в общем, все эти пять лет Томе и детям, конечно, постоянно помогали, и у Тома, а частью даже у моей матери, которая начала ездить на суды, познакомилась там с Орловым, еще с кем-то, ну, вот появилась другая среда. Ну и потом, было очень дурно, к сожалению: при наших ближайших друзьях Поповых, художниках, в это время образовался какой-то майор, довольно омерзительный, уже в качестве такого домашнего друга (об этом я подробно рассказываю в главах о коллекционерах, поэтому не буду пересказывать), ну, и который, по-видимому... Ну вот у Марии Анатольевны и Николая Сергеевича не было никаких ни опасений, ничего. А этот замечательный майор, по-видимому, Татьяне Борисовне и Игорю Николаевичу тут же внушил, что я, конечно, тут же начну обо всех все рассказывать. Ну, а знал я действительно массу — и обо всех действительно. В общем, так или иначе, но, когда Тома пришла, совершенно растерянная, беременная, с годовалым сыном, к ближайшим нашим друзьям — к Татьяне Борисовне и Игорю Николаевичу, Игорь Николаевич еще пытался что-то хотя бы посоветовать, а она совершенно не понимала: ну, вот вдруг меня арестовали — она не понимала вообще, ну что же делать, как же быть? Татьяна Борисовна ей... Игорь Николаевич еще пытался что-то сказать, а Татьяна Борисовна его перебила и довольно холодно сказала: «Нет, Игорь, Тамара все равно лучше нас знает что нужно делать, и мы ей ничего посоветовать не можем».



Письмо, в котором мать С. И. Григорьянца рассказывает, что И. А. Сац звонил ему в колонию. Архив С. И. Григорьянца



Письмо, в котором мать С. И. Григорьянца рассказывает, что И. А. Сац звонил ему в колонию. Архив С. И. Григорьянца

Так что, это всегда так, понимаете. Когда что-то происходит — вот сейчас у меня исчезло несколько знакомых, поскольку вокруг меня уже довольно напряженная ситуация опять, ну, а уж такая вещь, как арест, — меняется среда. Один из наших старинных университетских приятелей, близких нам, самых близких, занимавшихся вот как раз вот этой — как эта передача, сейчас ее восстановили опять, студенческая такая...

С. П.: В смысле телевизионная такая?

С. Г.: Телевизионная, да.

С. П.: Что там — «До шестнадцати и старше» была передача...

С. Г.: Нет, это еще раньше. Это самая знаменитая и самая такая, это самое... Ну, в общем, якобы такие отдельные из разных институтов студенческие группы соревнуются...

С. П.: КВН, что ли?

С. Г.: КВН, да. «Клуб веселых и находчивых». Ну, не важно. Ну вот, Гена встретил мою жену случайно: вот вместе оказались в вестибюле «Останкино», и Гена сделал вид, что он ее не заметил. Домашний приятель. Потом извинялся много. Но гораздо позже.

Надзор в Боровске

Так что, вы понимаете, это всегда очень многое меняет. Ну, и плюс к этому, и плюс к этому я довольно скоро оказался в Боровске. Откуда меня выпускали... Тут уже мне были объявлены условия надзора. Я уж не помню там с какого времени до какого, но так, что меня ничем это не стесняло и не смущало.

С. П.: Но вы были обязаны все время ночевать в этом доме, да?

С. Г.: Да, конечно.

С. П.: К какому-то времени?

С. Г.: Ну господа, это если бы кто-нибудь меня проверял! А я в своем доме, простите меня, а у меня еще довольно... Сначала я перевез своего бульдога туда, а потом еще и перевез... Потом еще Таня Трусова мне дала гигантского сенбернара. И к моему дому, в общем, никто не подходил.

С. П.: Потому что сенбернар, он большой и с виду страшный? На самом деле это добрая собака.

С. Г.: Нет, нет. Собаки... Это ошибка. Собаки очень чувствуют положение хозяина. Вот у меня сенбернар — мало того, что он действительно был очень большой даже для сенбернара, но он понимал, что меня надо охранять, и ни ко мне, ни к двору никого не подпускал. А когда он ставил лапы на забор, то поверх забора еще торчала вот так вот морда... И мои соседи, в общем, предпочитали ходить по другой стороне улицы. А когда однажды все-таки участковый решился ко мне прийти, но опять-таки, придя ко мне в газовую котельную, где я работал, дежурил, вместе со мной, я открыл калитку, убрал Тора, и во дворе было довольно много костей. И участковый меня озабоченно спросил: «А это что такое?» Я говорю: «Ну, наверное, залез кто-нибудь, а я еще не успел убрать...» (Смеются)

Вот, так что вот... Но тем не менее выпускали меня на три дня раз в месяц.

С. П.: Это к семье можно было, да?

С. Г.: К семье.

С. П.: Семья к вам не могла приехать?

С. Г.: Могла. Нет, ко мне можно было приезжать свободно. Но я выезжать не мог. У моей семьи не было ни судимости, ни надзора.

С. П.: Ну да.

С. Г.: Но прежде чем уехать, я должен был зайти в милицию — взять специальный талон такой с подписью моего, значит, человека, который за мной наблюдал. Когда я выехал из Боровска, приехав в Москву, я должен был начать с того, что зайти в районное отделение и там отметить, что я туда приехал. После этого у меня было два с половиной дня, и, уезжая, я опять должен был зайти в московское отделение милиции отметить, что я уезжаю, и, приехав в Боровск, принести это все... Потому что иначе я был бы, ну, вот незаконно... Причем надо сказать, что однажды вполне клеветническим образом, но мой надзор был использован. Мельком я рассказал уже это. Первый начальник отряда в Ярославле был такой совершенно отвратительный лейтенант, который считал, что я ему буду писать всякие учебные там задания. Когда из этого ничего не вышло, — по-видимому, он был очень сильно злопамятный и злобный... Я-то о нем забыл, но он обо мне не забыл. И однажды, вот так вот приехав в Москву, на «Площади Революции», в метро, я его увидел, с трудом узнал, поздоровался, удивился, почему он со мной не здоровается. Ну, не здоровается — бог с ним. Но потом — это уже было, правда, незадолго до моего ареста — появилась его бумага с очень подробным описанием этой встречи: что, оказывается, он увидел Григорьянца в метро, на «Площади Революции»... Поскольку это все описано было в нескольких газетах, я это помню просто почти дословно, кроме его...

”

«Он сидел на скамеечке (я совершенно не сидел ни на какой скамеечке: не было у меня для этого времени), к нему подсели два иностранца, обменялись с ним портфелями и ушли (что меня особенно радовало во всех этих статьях), разговаривая между собой на никому не известном языке».

Ну ладно. Но я-то был как раз во вполне законный свой день, когда мне разрешалось приехать. А этот выродок, по-видимому,

был в Москве как-то незаконно. Очевидно, в какой-то свой рабочий день. Поэтому он поставил другую дату — тогда, когда это соответствовало его возможностям. Ну, поставил он другую дату, но это была дата, когда у меня был рабочий день, и к тому же это был день перед праздником каким-то — не помню уже, каким, но когда полагалось газовые котельные проверять, и еще в этот день была проверка, которая тоже установила, что я сижу на месте. Ну, кроме того, что есть журнал вообще. В общем, это была чистейшая клевета. Ну вот, сами понимаете, что тем не менее мне это опять напомнили и в суде. И в суде опять выяснилось, что это клевета. И, конечно, никакие мои попытки привлечь его за заведомо ложный донос ни к чему не привели. Но тем не менее, когда у тебя надзор, то положение, в общем, очень шаткое. А у меня, надо сказать, надзор был все три года, которые я провел в Боровске. В принципе, надзор объявляется на год, но мне его каждый год продлевали. Так что, отвечая на ваш вопрос, больших возможностей для общения со старыми знакомыми у меня просто не было.

С. П.: Понятно.

«Бюллетень В»

С. Г.: Вот, но тем не менее однажды, по-видимому, я съездил летом 92-го года...

С. П.: 82-го?

С. Г.: 82-го года опять в Карабаново. И вот тут вот как раз услышал рассказ Тани и Феди (возвращаясь назад), что теперь «Бюллетеня-В» не будет. И тогда я сказал им: «Ну, приезжайте ко мне дней через десять. Я все обдумаю». Сказал, в общем, что я буду его редактировать, поэтому мне надо обдумать эту ситуацию. Все-таки так или иначе основатель «Бюллетеня В» Иван Ковалев уже арестован, главный сотрудник Леша тоже арестован, Тольц уезжает... Ну, в общем, сами понимаете, ситуация не блестящая.

С. П.: А до этого, я так понимаю, что со времени освобождения к 82-му году прошло два года, да? В 80-м году вы вышли?

С. Г.: Да.

С. П.: То есть до этого вы так называемой диссидентской и правозащитной деятельностью не занимались?

С. Г.: Нет, я поддерживал с кем-то отношения. Я писал свои книги об общности уголовной и коммунистической истории России, но я просто никого не видел. Так что делать мне было совершенно нечего. Но тут я — к тому времени, когда они ко мне приехали, — я уже точно знал, как это будет, и впервые это было выстроено с полным пренебрежением ко всем вот этим вот диссидентским рассказам о том, что в подполье можно встретить только крыс и так далее. Это был последний источник информации из России, и было понятно — с одной стороны, конечно, было понятно, чем это кончится, но, с другой стороны, было понятно, что нужно его сохранить как можно дольше. «Хроники» нет. Перестали выходить и все-таки информативные и важные документы Хельсинкской группы, поскольку Елена [Георгиевна Боннер] распустила Хельсинкскую группу. Распустила... Ну, во-первых, в Хельсинкской группе оставалось три человека: Каллистратова, профессор Мейман и она. Во-вторых, никого нового они не принимали, после того, как выяснилось, что КГБ замечательно использует Хельсинкскую группу для внедрения своей агентуры за границей. А уже вполне определенный такой человек — Лозовский, по-моему, зять генерал-полковника КГБ, так уехал, став членом Хельсинкской группы — а его выслали. А в Америку он уже попал как член Хельсинкской группы. Ну, еще несколько... Так уехал Ярым-Агаев. Вообще, в Москве начало создаваться — с одной стороны, это было ГБ, с другой стороны, вообще — представление о том, что так легко уехать в эмиграцию, которое Елену Георгиевну не устраивало совершенно. Ну, и кроме того тут уже ультимативно было заявлено — было возбуждено уголовное дело против Софьи Васильевны [Каллистратовой], тоже по «сто девяностой прим», — и Елене Георгиевне было просто сказано, что если Хельсинкская группа не будет распущена, то Каллистратова попадет в тюрьму. Каллистратовой было, по-моему, семьдесят пять лет, и я помню, как на дне рождения у нее Софья Васильевна говорила: «Ну, умру в тюрьме».



А потом пришла Елена Георгиевна с каким-то пирогом, так держа его на вытянутых руках... Ее начали спрашивать, с чем пирог. И она ответила: «С любовью».

С. П.: Красиво.

С. Г.: Но в это время действительно одну из украинских правозащитниц, тоже семидесятилетнюю, гоняли по этапам где-то в Сибири. Не было очевидно, что она выживет. То есть, в общем, ситуация была... В общем, ничего, кроме «Бюллетеня В», не было, и поэтому, когда они ко мне приехали, я сказал, что мне нужен абсолютно неизвестный КГБ человек. У которого бы никогда не было никаких, даже мельчайших, не то что конфликтов, но который бы никогда не был даже на примете. И такого человека нашли. Это был Володя, муж Лены Кулинской, математика, которая тоже была одной из сотрудниц «Бюллетеня В», у которого действительно не было никогда, никогда не был в сфере интересов КГБ. В это время было семь постоянных сотрудников «Бюллетеня В», у каждого из которых была своя сеть: Кириуша Попов, Лена Кулинская, Лена Санникова, необычайно активная Ася Лащивер, Таня Трусова, Федя Кизилов и я. Я сказал сразу же, что «Бюллетень» будет выходить, в отличие от того, что происходило у Ивана и у Володи Тольца, с жесткой регулярностью — три раза в месяц. Раз в десять дней. Соответственно раз в десять дней Володя должен объезжать всех сотрудников «Бюллетеня» и собирать у них все материалы. Никто из них ко мне по возможности ездить не должен. Это не совсем соблюдалось. В общем, приезжали, помогали на самом деле, но тем не менее это бывало изредка, это не было системой, это никак не укладывалось. Единственный, кто регулярно приезжал, но опять-таки раз в десять дней, был Володя. И привозил мне всю эту кипу материала. Ну, я тут же купил себе не очень удачную, но все-таки немецкую пишущую машинку. В это время даже с бумагой было уже плохо. Но вот все-таки какую-то такую грязную папиросную бумагу, какую-то, я не знаю, в общем, годилась она больше всего на махорку вообще, для курения, но тем не менее еще можно было купить пару пачек вот таких, по пятьсот листов, этой отвратительной бумаги, а я к этому времени нашел знакомого, которого не знал никто из сотрудников «Бюллетеня В» — и в свою очередь он не знал никого, — который жил — в двух или трех километрах от Боровска по течению

Протвы был биологический институт, и он работал в этом биологическом институте и жил в одном из его домов. Я попросил его (а он был преисполнен всяких свободлюбивых чаяний и интересовался всякими книжками), я попросил его перепечатывать. То есть происходило это в дальнейшем таким образом. Я получал все эти материалы, я еще делал даже обложку, называл это «Экспресс-информацией», дал эпиграф: «Ибо не ведают что творят», — номер бюллетеня, дату, а дальше было оглавление, поскольку теперь в «Бюллетене» было иногда десяток, иногда полтора десятка разделов: с хроникой, с документами, — ну, в общем, довольно разнообразных. То есть это был уже выстроенный такой... Я могу показать просто.

С. П.: Да, обязательно.

С. Г.: Несколько номеров у меня есть, несколько номеров воспроизведено на моем сайте².

² См. grigoryants.ru/category/byulleten-v.

С. П.: Скажите, извините, а вот вы сказали про подзаголовок «Экспресс-хроника»...

С. Г.: Нет, это была «Экспресс-информация» все-таки, а не «Экспресс-хроника». То есть сошлось два не полностью названия.

С. П.: Понятно, а само название «Бюллетень В»?.. Я не нашел какого-то вот такого более-менее внятного объяснения.

С. Г.: Ну, предположительное объяснение есть. Но я думаю, что оно достаточно точное. Дело в том, что Кронид Любарский, например, выпускал информационные бюллетени о положении в Советском Союзе, и я думаю, что «Вести из СССР»³. И Иван Ковалев, первое время, когда... Ведь началось это просто с того, что Иван Ковалев просто, найдя где-нибудь телефон, у которого была междугородняя связь, а тогда мало у каких телефонов она была, просто надиктовывал Крониду какие-то информационные сообщения. И я думаю, что это от «Вестей из СССР». Хотя шло это, шел «Бюллетень В» и на «Свободу», и на «Голос Америки», и на «Би-би-си», и всюду и, в общем, был единственным источником информации в это время, но название, вероятно, от «Вестей из СССР». Я менять его не стал, не видя никакой нужды. Но зато вот совершенно изменился и характер, и объем, кстати говоря, резко выросший, и расположение материала, и периодичность его — ну, в общем, все, как я считал, я привел более-менее в порядок, ну вот, и так все работало.

³ «Вести из СССР» — периодический правозащитный бюллетень, издававшийся Кронидом Любарским в Мюнхене в 1978—1991 гг.

Я получал вот эту гору материалов, распределял их по рубрикам, во многих случаях переписывал, для того чтобы придать этому более грамотный вид, потому что зачастую это были просто сообщения, полученные с мест, в свою очередь там Асей Лащивер или Таней, или еще кем-то — ну, просто рукописные такие заметки. Федя Кизиллов сделал очень важную вещь: он в моем доме, где была перестроенная голландская печь, в подполе, где был ее фундамент, уложил кирпичную кладку до стены... У меня есть фотографии. Вообще сейчас...

С. П.: На сайте, по-моему, она есть, эта фотография.

С. Г.: Да, их несколько. Сейчас это единственный сохранившийся вообще тайник диссидентского времени.

С. П.: А он сохранился, да?

С. Г.: Да, пока еще жив. Я его подарил брату жены, и он там кое-как...

С. П.: А, то есть он как бы пока что в семье, этот дом, да, и в принципе...

С. Г.: Ну, пока да. Но в довольно хилом состоянии, потому что за домом надо ухаживать. Но, так или иначе...

С. П.: Расскажите... Извините, я вас перебую. Про тайник поподробнее.

С. Г.: Да, ну вот была сделана вот такая кладка, и она оказалась... Человек залезал в подпол — вот фундамент печки. И из подпола залезть в него нельзя было, но зато между печкой и стеной было сантиметров семьдесят места и соответственно половиц, которые он выпилил, — и вот их можно было сверху снять. На них всегда были сапоги — в общем, ни один обыск этого не нашел. Я очень развлекался потом по этому поводу. То есть я никогда не держал сверху никаких материалов. Сверху лежали мои рукописи — вот эта вот незаконченная лагерная книжка, еще что-то такое, еще что-то такое... Кроме, правда, одной вещи, которую в конце концов они нашли, — и почему я им сказал, что был редактором. В предпоследнем номере была большая редакционная статья и, по-моему, она так и называлась — «Заметки редактора», страниц на пять или на семь, и я писал ее продолжение. И вот это продолжение лежало у меня на письменном столе. Письменный стол, кстати говоря, был Володи Тольца, потому что тогда было принято опять-таки, что, когда человек уезжает, он отдает мебель, во всяком случае, ту, которую не хочет или не может продать, тем, кто остается, и в особенности тем, кто освободился из тюрьмы.

Ну что, ну и вот так вот мы проработали до марта 83-го года. Я старался никогда ни к кому не ходить, никаких диссидентских связей не поддерживать. Федя Кизиллов отдавал один из семи номеров... Мне Володя перепечатывал, не помню, то ли семь, то ли десять экземпляров: я ему давал единственный свой как бы черновой вариант — на этой плохой бумаге, — то, что я уже сделал, а он это перепечатывал. То есть у нас было, ну, десять экземпляров максимум. Наверное, меньше. Может быть, семь. Эти семь экземпляров попадали... Федя Кизиллов, как правило, привозил Елене Георгиевне. Она передавала с журналистами... Ну, в общем, как придется. У Аси Лащивер была знакомая во французском посольстве. За Асей следили совершенно чудовищным образом. Ходили просто... Ее это очень развлекало.



Она, во-первых, завела себе милицейский свисток. Когда к ней сильно приставали гебисты, она начинала свистеть в этот свисток. Прибегали милиционеры, и она говорила, что вот эти вот люди ко мне пристают.

Иногда, когда ей надо было куда-то поехать и было известно, куда она едет, и за ней ехала гебешная машина, ей становилось лень — она говорила: «Ну, хорошо, ну, подвезите меня просто, ну, чего вам». Сказать, что я был в идеальном положении, я не мог, потому что я помню — причем это было не очень понятно, почему, — потом, я не помню, с чего это началось, но я ехал к Асе и увидел, что за нами едет явно гебешный «жигуленок». А тогда они еще довольно часто — то ли по лени, то ли я не знаю, из каких соображений, — ездили без номеров. Вот им разрешалось. В общем, ситуация была очевидной. Я сказал шоферу: «Ну, давайте попробуем как-то от них оторваться». И он испытывал тоже такое омерзение к ГБ, что он действительно по каким-то фантастическим дворам, еще откуда-то там... Этот шофер такси мне спокойно сказал: «А мне что? Я скажу этому: „Мне клиент сказал так ехать“». Ну, совершенно не испугался, и мы действительно оторвались. Так что, в общем, бывало это по-всякому все-таки. Ну, господи, ну нет никаких особенных иллюзий. В общем, понимаешь, чем это должно кончиться. Я, правда, категорически запретил (и мне это, кажется, удалось) Асе, которая любила все перепечатывать, и вообще вот она была из тех, кто... Для нее размножить, а тут еще «Бюллетень», это было просто счастье. Но когда я выяснил, что она то ли хочет этого делать, то ли сделала уже, я ей категорически сказал, что нет, ни при какой погоде этого делать нельзя. Нас слышат сотни тысяч человек по всей стране, а вот кому вы отдадите, вы не знаете, и если они выйдут сначала на вас, потом на меня и так далее, и так далее, то ничего не будет. И не те семь человек, которым вы дадите свою распечатку, а двести тысяч человек ничего не услышат. У Лены Кулинской была другая идея. В это время очень настойчиво рассылал свои письма, свои предложения Народно-трудовой союз. Я сказал, что ни при какой погоде иметь дело с НТС нельзя. Ну, я все-таки занимался эмигрантской литературой. Кто есть кто, я довольно хорошо понимал. Я сказал, что половина там сотрудников ГБ и людей, на которых выходит НТС, как правило, тут же арестовывают. А Лене казалось, что, ну, вот союзники. Еще было несколько вот таких вот идей. Некоторое время у меня прожил Дима Орлов, сын Юрия Федоровича, несколько месяцев. Однажды прожил там еще кто-то. Был очень странный визит отца Подрабиника, Пинхоса Абрамовича. Что это было, я не знаю. Иногда я думаю, что это была провокация. Тем более что он... Я довольно плохо отношусь вообще к этой семье. Иногда я думаю, что это моя мания преследования. Так или иначе, от Аси, с которой он был дружен, он знал, что я редактор «Бюллетеня В», но тем не менее знал — не знал, но никто меня не арестовал! Но начал мне объяснять, как, используя микрофотосъемку под почтовую марку можно зашифровать какое-то чудовищное количество знаков, информации, еще что-то такое. Ну, во-первых, это было технически сложно, во-вторых, на мой взгляд, это было совершенно бессмысленно, и, наконец, у меня не было никого, с кем надо было секретно переписываться. Но Пинхос Абрамович, может быть, считал, что у меня такие клиенты есть. В общем, ничего из этого не вышло. Ну, у меня бывали... Надо сказать, что у меня в Боровске бывали почти все. Приезжали — кто познакомиться, кто в гости, ну, в общем, по-разному.

Второй арест

Ну, а потом, как и ожидалось, все это плохо кончилось. Причем у меня на Новый год приехали дети. Я купил замечательную елку. Это была, собственно говоря, не елка, а верхушка срубленной в лесу тридцатиметровой ели. Поскольку она была верхушка (ну, такая тоже трехметровая или двухметровая), она была вся покрыта, как игрушками, шишками. Красиво это было необычайно. Вообще второй раз в своей жизни такой елки я не видел. Но Тимошка... В это время вышла пластинка Окуджавы, где была его песня о бумажном солдатики, который сгорел ни за грош, потому что вот был солдат бумажный. Тимошке, который, конечно, не понимал ее смысла, не понимал, когда и как она написана, она очень нравилась, и он отказывался по вечерам ложиться спать без этой песни. А я хорошо понимал что меня ждет. Сказать, что это лучшее было из переживаний, я не могу.

В общем, так или иначе, арестовали меня случайно, но такие случайности неизбежны. Я по каким-то делам, связанным с газовой котельной (а руководство этих котельных по всей области было в Калуге), отправился в Калугу, а за компанию еще решил сделать два полезных дела. Во-первых, Саша Богословский мне дал адрес жившего в Калуге его двоюродного... Его дяди, у которого лежало штук двадцать номеров журнала «Континент», который Александр Николаевич получал через французское посольство, но к журналу относился плохо и даже дома держать не хотел — вот держал у дяди. И предложил подарить мне. Я, значит, должен был заехать к этому дяде и к Диме Маркову, который работал в это время фотографом в Калужском музее, а перед этим Дима приезжал ко мне, по-моему, — да, думаю, что ко мне, конечно, — и переснял все «Бюллетени В». И у меня была такая пленка еще и с фотозэкземпляром. Один экземпляр «Бюллетеня В» оставался всегда у меня в тайнике вместе с другими, вместе с материалами, которые обрабатывались. Остальные шесть распределялись.

Я зашел к Диме Маркову. Но в это время следили, как выяснилось, за ним. Причем понял я это, к сожалению, только тогда, когда вышел от него. Потому что подъезд был с одной стороны, а в его небольшой двухкомнатной квартирке окна выходили на другую сторону. И только когда я обошел дом, уйдя от него, я увидел, что там стоит «жигуленок» с антеннами, явно прослушивающий его квартиру. А у меня же еще, по-моему, к этому времени уже был портфель с этими «Континентами»... Или я сам все-таки привел?.. Может быть, они тогда установили наружку за мной, и это я привел их к этому дяде Александра Николаевича Богословского? Я уже не помню точно, как это было, но в общем так или иначе у меня оставалось еще часа два до поезда из Калуги в Боровск (ну, точнее, не в Боровск — в Боровске нет железной дороги), и я сидел в зале ожидания, и плюс к этому я еще был, в общем, как-то странно и экстравагантно довольно одет, потому что, с одной стороны, у меня была дорогая такая розовая дубленка (как раз та, о которой меня спросил гебист: «А откуда у вас такая?» — и у него была такая же), а с другой стороны я как деревенский житель был в валенках (может быть, даже с галошами — я не помню; да, наверное). Вот, эти валенки с этой дубленкой, наверное, как-то плохо сочетались. Ну, не знаю. Ну, суть была не в этом. Суть была, конечно, в том, что они уже за мной следили, и ко мне подошел дежурный, молодой мальчишка, проверять у меня документы, проверил — у меня все документы были в порядке, заглянул ко мне в очень большой портфель такой вот рыжий, увидел там книги — ну, чего интересного. И ушел. Но, по-видимому, пришел в свою эту комнатку, где сидел человек, который

его послал, сказал: «Да у него нет, все в порядке и ничего, кроме книг, нет», — но тут ему сказали: «Нет-нет, вот это вот как раз очень интересно!» И тогда он пришел ко мне опять и потащил меня в эту комнатку, где сидел какой-то штатский, который развернул обертку на первой же из книжек и увидел, что это Париж... Ну, в общем, дальше уже все было иначе. А я уже и тогда, и потом очень удивился, сказал: «Ух ты, как!» — сказал, что, ну, пиво пил, а там, знаете, вот были такие — рассказал, в какой пивной, — высокие столики, а у них вот внизу такая полочка, увидел сверток, смотрю — с книжками. Ну, а я библиофил. Я даже и не знал, что... Ну, газетку выбросил, книжки положил в портфель. К сожалению, потом это мне пришлось рассказывать еще много раз. Сначала меня, правда, даже спросили: «А где газетка?» Я говорю: «Ну, выбросил в мусорное ведро. Может быть, и лежит там еще». Я не уверен, что они побежали туда искать газетку, но так или иначе сначала у меня был какой-то довольно примитивный следователь прокуратуры, у которого какие-то материалы обо мне были, но, в общем, он не сильно понимал, кто я такой, не сильно на чем-то меня пытался поймать, в общем, был дурак дураком. По-видимому, с уголовниками у него это проходило. Со мной это точно не проходило. Но довольно быстро ситуация переменялась. У меня появилось уже пять следователей, из которых только двое было из Калуги — начальник следственного отдела и какой-то из его сотрудников, трое было командированных: один из Курска, один, по-моему, из Одессы, один из Смоленска. Меня поместили в камере... Ну, в Калуге нет следственного изолятора КГБ. Там такая общая тюрьма. То есть, не тюрьма, а следственный изолятор. Но меня поместили в камеру, около которой установили пост гебешников, которые приезжали в командировку на месяц разные, из разных управлений ГБ. Ну, в общем, ситуация довольно заметно переменялась. Месяца через полтора я сказал, что я редактор «Бюллетеня В». Сам. Ну, потому что, во-первых, они у меня нашли статью — вот явное продолжение статьи редактора.

С. П.: Это ж надо было еще доказать. Это довольно сложный текстологический анализ.

С. Г.: Да. Но, с другой стороны, что было гораздо хуже, они каким-то образом поймали вот этого вот Володю, который перепечатывал. Они сказали ему: «Ну что, ну, мы тебя... У тебя же вот есть квартира. Мы тебя посадим даже не обязательно надолго — на полгода, а ты как не живущий из нее будешь выписан. Вот этой квартиры у тебя больше не будет». И он начал рассказывать... Однажды он случайно попал у меня, когда был Федя. Он рассказал о Феде, что большого значения как раз не имело, потому что «Бюллетень В» они отслеживали — дальнейшее его распространение. Они просто не знали, от кого он идет. И больше того, поскольку именно Федя бывал у Елены Георгиевны, у [Людмилы] Алексеевой, у Каллистратовой, они считали, что редактор он. Так что, больше того, когда я сказал, что это я редактор, сначала пытались мне даже возразить: «Ну, это вы берете на себя чужую вину». Но я-то понимал, что из сочетания показаний этого Володи, у которого забрали весь предыдущий номер с началом этой статьи, а у меня продолжение лежит на столе, ну, и вообще, проанализировав ситуацию, они это поймут и через какое-то время начнут меня изобличать. Доставлять им это удовольствие я совершенно не хотел. И они действительно довольно быстро убедились, с одной стороны, в том, что я редактор, но, с другой стороны, ну и что? Это редактор. Никаких материалов у них нет, поскольку этого основного они не нашли. Никаких... Ася Лащивер, Таня Трусова тут же начали помогать Томе. Ну, плюс к этому, надо было возиться с моими собаками. В общем, кто работает в «Бюллетене», они понимали. Но доказательств не было никаких. Я ничего не рассказывал. Ну, правда, начали травить Федю. И, как потом выяснилось (ну, это я уже понял недавно, прочтя его воспоминания; он сейчас в Америке), ему действительно нельзя было при его психологии — я плохо его понимал, недостаточно хорошо его знал, он был близким другом Тани Трусовой, — ну, ему нельзя было попадать в зону. И он это тоже понимал. Его где-то задержали. По-моему, в Боровске, когда он приехал. И он начал от них бегать — то в Свердловск, то еще куда-то, то еще куда-то — и так провел несколько лет, лет пять, а потом, когда удалось, уехал в Америку.

Следствие

Ну, меня они арестовали, ну и что? Лена Санникова попыталась даже выпустить еще один номер «Бюллетеня-В», для того чтобы доказать, что это не я редактор и что я ни при чем. Но этот номер получился плохой, потому что материалы взять было негде. Это были какие-то материалы СМОТА — большей частью это было вранье. СМОТ — это было такое межпрофессиональное объединение трудящихся, такой профсоюз, где была Ира Ратушинская, где был Валера Сендеров, но бюллетень, который они выпускали, был абсолютно непотребный. Это было какое-то совершенное безобразие. Ну, главное, они ввали там все. Потому что никакой сети у них не было, ничего у них не было. А у меня было все наоборот. И это была вторая забавная ситуация, потому что, как и полагается, через какое-то количество времени они мне принесли обвинительное заключение, где было двадцать четыре, по-моему, сообщения. И из того номера «Бюллетеня В», который к ним попал, который (я думаю, что у них были и другие, но тогда им надо было объяснять, откуда к ним это попало, и они этого совершенно не хотели), который они называли клеветническим. Я был обвинен по семидесятой статье. Семидесятая статья предусматривает умысел, в отличие от «сто девяностой прим», в распространении клеветнических данных. Но об этом они и не заботились — лишь бы доказать недостоверность, и вот тут они наткнулись на то, что все сообщения были достоверны. Сначала они меня начали вызывать. Ну, пять следователей — работать же надо. И я начал довольно внятно объяснять, где, что, почему и как, не называя имен, а довольно хорошо зная обстоятельства просто. И тут оказалось, что у них разваливается обвинение.



И тогда ситуация стала совсем поразительной. Они перестали меня вызывать на допросы, а я начал писать заявления, что желаю быть опрошенным. Которые, конечно, они игнорировали с легкостью.

Правда, кроме «Бюллетеня В» мне в качестве обвинения было предъявлено надгробное слово памяти Шаламова, напечатанное в «Континенте» к тому же еще, и, по-моему, все. А может, еще что-то. У меня не было времени перечитать свой обвинительный приговор и свое обвинительное заключение. Где-то что-то из этого уцелело.

Тут я начал требовать, чтобы мне передали Библию. Они упирались как могли. Для начала мне какой-то симпатичный лейтенант передал то ли Уголовный, то ли Уголовно-процессуальный кодекс, за что его тут же ли уволили, то ли...

В общем, больше он не появлялся никогда.

С. П.: А Библию нельзя было?

С. Г.: Да нет. Вообще-то положено, но только все равно не дают. А он по молодости исходил из того, что положено. Ну, я объявил голодовку. Довольно долго голодал — я думаю, дней двадцать пять, и они меня едва не убили. Наверное, на этом все и кончилось, потому что и Библию они мне дали, а я голодовку прекратил, но там все дело в том, что неопытный врач Калужского этого изолятора, СИЗО, где, по-видимому, никто не голодал, в качестве искусственного питания влил мне совершенно черный по густоте и наваристости бульон. Ну и это была такая чудовищная нагрузка на сердце, что у меня началось... В общем, они меня едва-едва вытянули из инфаркта. Но зато после этого разрешили передавать мне любые продукты. Жена мне привезла целого гуся вот такого вот.

С. П.: Ничего себе.

С. Г.: Передавала, конечно, не она, а это передавалось там — его, наверное, просвечивали, прощупывали, я уж не знаю, как. В это время был очень симпатичный охранник у меня у дверей, Сережа, который... А они все со мной разговаривали. Ну, не все, но половина. Особенно, когда... Значит, охранник у меня был должен был делать что? Он должен был взять у меня миску, когда приносят баланду, осмотреть ее, чтобы я там ничего не написал, дать ее баландёру. Потом за этим баландером осмотреть ее внимательно, чтобы баландёр там ничего мне не это самое, и передать мне. А поскольку у меня еще со времени Верхнеуральска, наверное, на деле была красная поперечная черта — «склонен к побегу», хотя я никогда нигде не бежал, ничего — в общем, максимум, что они могли, они у меня нарисовали, а кроме того в тот час, когда была прогулка, этих гебешников должно было быть уже двое, потому что один должен был вести меня на прогулочный дворик (этим местным не доверяли), а второй должен был стоять у моей камеры, чтобы кто-нибудь мне чего-нибудь туда не подкинул. В общем, они сильно переоценивали мои возможности, надо сказать. А я, надо сказать, дал работу такому количеству этих персонажей, что прямо они должны были мне памятник поставить. Этот Сережа передавал мне этого гуся и говорил: «Ну вот, слава богу, уже осталось до конца службы два года». Ну, ему было лет пятьдесят. «А то ну что вот — жена все время пилит, никто с нами во дворе не здоровается».(Он был из Питера.) В общем, так вот жил

А потом... Они меня так и не вызывали на допросы, но начали вызывать на знакомство с делом, которое было как-то ими сварганено из семи томов. Для того чтобы сварганить семь томов, все семь экземпляров или десять «Бюллетеня В», одного и того же номера, которые они изъяли у этого Володи, они сшили в один том (*смеется*). В общем, это было абсолютное... Потому что материалов у них никаких не было, в общем, если говорить серьезно. Единственное, что у них было, — они забрали на обыске рукописи, которые мне дарил Шаламов. А у меня была такая папка со стихами, большей частью написанными от руки, исправленными машинописями его и так далее. Да, кроме того, у меня не было адвоката. Потому что в Москве каждый раз, когда кто-то соглашался меня защищать и имел для этого допуск, ему назначали на эти даты какое-нибудь другое дело. Мама пошла к председателю Коллегии адвокатов, который ей вполне откровенно сказал, что, если бы ваш сын кого-нибудь убил, никаких проблем бы не было, а так я вам ничем помочь не могу. И она согласилась на то, против чего я сильно возражал и всячески отбивался, — чтобы у меня адвокатом был председатель Калужской коллегии адвокатов. Такой поганец, который сначала меня пытался уговорить все признать — и как мне будет тогда хорошо, а увидев, что уговорить меня не удается, всякий интерес ко мне потерял.

С. П.: А вы же и так признали все, я так понимаю? Или...

С. Г.: А я ничего не признал, почему?

С. П.: Ну вот то, что вы были редактором «Бюллетеня», это...

С. Г.: Да, ну я был редактором «Бюллетеня», но для этого же надо доказать, что хоть одно его сообщение является клеветой.

С. П.: Понятно.

С. Г.: Ведь суд же о клевете, а не о «Бюллетене». Распространение заведомо клеветнических... А я совершенно нагло сунул себе под рубашку все рукописи Шаламова, изъяв их из дела. Причем сильно наивен я все-таки... Ну, я был более наивен, чем нужно было, но все-таки, я понимал, что шмон в конце концов устроят и рукописи заберут. Но поэтому — у меня была такая общая тетрадь — я очень аккуратно переписал все стихи Шаламова со всей правкой, со всеми особенностями. Думал, ну, заберут рукописи, зачем им вообще моя тетрадь.

Суд

Ладно, а дальше начинается суд. Один из пунктов обвинения — клеветническое сообщение о голодовке Сахарова. Вообще к суду готовятся они необычайно. Но я думаю, что не ради меня как раз, а ради Сахарова. Потому что всюду, там, какие-то вспышки, какие-то... Аппаратуры много, много звуко- и видеозаписывающих каких-то устройств, в общем, что-то такое совершенно ненормальное. Плюс к этому трибуна. Но не для меня, конечно.

Начался суд, как полагается начался он... я должен был что-то сказать, согласен ли я с обвинением. Я говорю: «Вы сами знаете, что человек я много видевший, уже сидевший. У вас характеристика данная мне из тюрьмы, где даже вдвое сокращено количество карцеров, которое на самом деле было, и характер мой обрисован самым неблагоприятным образом, но с другой стороны, вы же понимаете, что у меня есть личный опыт, и я написал большое количество жалоб другим и занимался большим количеством дел других заключенных. Поэтому, когда следствием не был вызван ни один из свидетелей защиты, которых я просил, я не очень удивился. Когда следствием не была проведена ни одна из экспертиз, о которых я тоже писал ходатайства, я как-то тоже довольно спокойно это воспринял. Но я при всем своем опыте впервые сталкиваюсь с тем, что я, обвиняемый, за восемь месяцев следствия пятью следователями не опрошен из двадцати четырех пунктов обвинения по восемнадцати. Вот это вот, на мой взгляд, является вполне серьезным обстоятельством для того, чтобы вернуть дело на доследование». Ну, адвокат, конечно, этого не поддержал, а председатель суда, одновременно

калужского суда и у меня, значит, успокоительно мне сказал: «Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, Григорьянц, мы вас опросим».

С. П. (*смеется*): В свое время.

С. Г. (*смеется*): Ну, вот так вот начался мой суд. Действительно, у них все разваливалось. Для этой трибуны вызвали (кажется, его фамилия Фролов была) молодого врача из Горького, который лечил Андрея Дмитриевича [Сахарова], который очень уверенно сказал, что у Сахарова была обычная лечебная голодовка, но при этом он был настолько глуп, что он привез его лечебную карточку и больше того, дал ее мне. А из этой лечебной карточки было совершенно очевидно, что ему делают искусственное питание, что он отказывается и там записано. В общем, что это было необычайно по-дурацки. Плюс к этому судили меня, по-моему, на третьем этаже Калужского суда. Ну, что касается сотрудников «Бюллетеня В», Таню Трусову, Асю Лащивер, кого они знали, они просто снимали с электричек, замечательно при этом формулируя: «Ася Абрамовна, надо пройти для проверки документов, для установления личности» (*смеется*). Но плюс к этому и здание этого суда тоже окружили. И плюс к этому даже моих родственников они старались не впускать, сидели одни какие-то курсанты из какого-то училища под предлогом что они являются свидетелями. Поскольку они являются свидетелями, то они не могут присутствовать на заседании до того, как они будут вызваны в качестве свидетелей. Ну, тем не менее все это как-то шатко или валко шло, правда, действительно им пришлось отказаться от обвинения в том, что я передавал какие-то секретные документы людям, которые говорили на никому не известном языке, потому что все это не получалось по датам просто. Зато поскольку говорить они мне в основном не давали, а адвокат и не хотел, то они вынесли замечательный приговор, который, в общем, ожидался и который был даже в своем пункте о ссылке на два года меньше, чем ожидалось, потому что обычно они давали в таких случаях семь лет и пять лет ссылки, а мне почему-то дали семь лет и три года ссылки. Но может быть, потому что у них (это я забыл пересказать еще раз, но вам по-моему уже рассказывал) в деле были мои совершенно демагогические заявления о том, что прошлое мое дело было сфабриковано и я был незаконно осужден, потому что меня все время звали работать в КГБ или сотрудничать с КГБ. Я не рассказывал это? Ну, это когда мне нечего было делать, они все считают искренне, что я, ну, действительно, многие так переживают, когда их долго не вызывают. Они там собирают свои предварительные документы, а тебя арестовали и не вызывают, и неизвестно, что будет. На меня это совершенно не действовало, а наоборот я написал в Президиум Верховного совета СССР впервые подробную жалобу. На всякий случай я не стал ничего писать о конфискованных картинах, потому что понимал, что это у них личный интерес, но о том, что, конечно, я был арестован, естественно, из Верховного совета прямо у моего следователя, который, дойдя до пункта о том, что предлагали дачу в Красногорске, только хмыкнул и сказал: «Все равно бы обманули». Я ему сказал: «А я не проверял». А относительно Аваяна было написано, что нет такого сотрудника КГБ и вообще такого человека нет. Ну, нет — так нет. Так что я, пока было свободное время, развлекался как мог.

Но потом стало все несколько хуже, потому что это все было ожидаемо, но и некоторое время все было очень спокойно, а потом я получил извещение о том, что приговор вступил в законную силу. Мой мерзавчик адвокат еще и отказался писать кассационную жалобу, что было особенно замечательно. Я ее кое-как написал, причем он не имел права отказываться. Хотя, сами понимаете, если я не был опрошен следствием, то что тут еще говорить. Приговор вступил в законную силу, и я понимал, что это последние дни в Калуге. До сих пор не знаю, был ли я прав или нет, ко мне, улучив момент, подошел кто-то из сотрудников, какой-то сержант из тюремной охраны и сказал, что я все равно увольняюсь, если хотите что-то передать, я вынесу.

С. П.: Уже было у вас подобное в прошлые разы. Тоже предлагали передать письма какие-то...

С. Г.: Да, в том-то и дело, что тут нельзя понять, правда это или нет. Поэтому я на это не откликнулся никак, а на следующий день, когда меня вывели на прогулку и я вернулся, оказалось, что без меня, что было тоже нарушением закона, был произведен обыск в камере, были изъяты рукописи Шаламова и моя тетрадь с копиями, и Библию они забрали теперь уже опять, и еще за компанию и свои обвинительные заключения и так далее. Они очень не любят оставлять какие-то свои документы. Ну, приговор забрать они у меня не могли, но хотя бы обвинительное заключение изъять. Это всегда так бывает, на всех обысках: они в первую очередь изымают свои документы. Я начал возмущаться, естественно — кроме всего остального противозаконны обыски в отсутствие, должны происходить при тебе. Меня тут же вызвали к оперативнику, который (это моя слабость, не знаю, в общем я ни разу не настоял, чтобы он назвал свою фамилию). В общем, это был начальник оперативной части, но не в Калуге, а в Обнинске. В Обнинске свое КГБ, хотя это Калужская область. Мною занимались они все хорошо просто. И он был, как потом выяснилось, в конечном итоге и моим куратором в течение всего дела. Причем уже до этого однажды они привезли меня «нрзб» с большим количеством других персонажей, с каким-то следователем прокуратуры, еще с какими-то людьми, а назывался из них только следователь прокуратуры, а все остальные отказывались. Однажды он меня уже привел на обыск в мой боровский дом. Сразу после ареста. На третий день, наверное, что-нибудь в этом роде. До этого они очень боялись моего Тора, они все предлагали мне, чтобы мы заехали в аптеку, купили «элениум», чтобы я дал ему «элениум». Ну, несколько таблеток, я считал, что нестрашно, но когда они начали требовать, чтобы я дал больше, больше и больше, я сказал, что я не буду этого делать, потому что никто не проверял, как действует «элениум» на собак и травить свою собаку я не буду. Если хотите, застрелите, но пусть все слышат, что вы убиваете собак. В конце концов они рискнули меня одного впустить во двор, а Тор открывал двери. Вообще он жил на террасе, но в эту большую тридцатиметровую мою комнату он спокойно открывал дверь. А, нет. Я как раз подошел к окну террасы и начал его гладить и успокаивать. А в это время они влезли в заднее окно и заперли дверь. Чтобы он не вскочил в комнату. Ну, Тор, конечно, был очень возбужден: три дня не видел хозяина, естественно, был счастлив. Но они его потом отравили, только позже уже, когда потом делали обыск без меня. Перед этим подбросили отравленное мясо.



Поскольку у меня потом отравили второго сенбернара, перед налетом в Кратово, когда они громили «Гласность», я всегда пишу, что я собак не завожу, потому что они не выбирают ни хозяев, ни обстоятельства жизни, ни страну проживания.

Так или иначе, они в дом вскочили, Тора я выпустил во двор, и они начали обыскивать много часов подряд, естественно, рыться во всем, в чем могли. Ну, и тут после незаконного обыска в моей камере меня тут же вызвал оперативник и сказал: «А вы, Сергей Иванович, голодовку объявите, голодовку объявите!» И я понял, что они завтра вывезут меня из Калуги, и им совершенно наплевать, на то, что там дальше будет. Мы что-то с ним поговорили, и он по скопившейся в нем злобе сказал вещи, за которые он переживал потом четыре с половиной года. Сказал: «А вы вообще не думайте, что вам так уж хорошо придется». Я ему сказал: «Я понимаю, что вы сейчас меня вывезете, и поэтому мне это советуете». Это был совершенно наглый и незаконный намек на характеристику, которую вкладывают оперативники, кураторы, о том, как с тобой обращаться. Намек на то, что моя характеристика хуже некуда. И вот тут он сильно ошибся. Я на него посмотрел и сказал: «Это почему же вы считаете, что мне плохо будет? Наоборот, я совершенно уверен, что мне будет хорошо». — «Как это хорошо? Почему это вы думаете, что хорошо?» — «У меня нет в приговоре тюремного режима». Но поскольку я уже был в тюрьме, я понимаю, что всех людей, которые уже были в тюрьме, их сначала помещают опять-таки в тюрьму на два года и только потом уже смотрят, можно ли после «крытой» поместить человека в зону. А если поместить — то в какую и как... Я говорю: «Ну что, я понимаю, что попаду в Чистопольскую тюрьму. В Чистопольской тюрьме я уже был, все порядки там даю, и начальника тюрьмы Ахмадеева помню. Я уверен, что мне там будет очень хорошо». — «Вы так уверены?» — «Да. Ну что, привезут меня. Первые два месяца полагается быть на карантине. То есть не в общей камере, а сначала тебя помещают в карантин, где решают, что с тобой дальше делать. Поскольку я не на особом режиме, а на строгом, держать меня в одиночке нельзя, значит, у меня будет сосед. Я думаю, что сосед у меня будет очень симпатичный, доброжелательный, который мне много будет о себе рассказывать. И как такому человеку не ответить тем же? Я ему тоже буду о себе рассказывать. Я ему расскажу, как устраивая у меня два обыска в моем доме, вы так и не нашли тайника с материалами [«Бюллетеня В»], где были сообщения со всего Советского Союза, сотни человек (а я уже знал, мне жена успела сказать перед началом суда, что она вывезла этот рюкзак, то есть я уже точно знал, что его там нет). Ну, не сумели вы найти материалов, поэтому судить вам было некого. Ну, и потом я, честно говоря, когда сказал вам, что хочу пойти в уборную, там у меня среди батареек для фонарика (как вы понимаете, уборная во дворе) была как бы батарейка, но в ней были скручены пленки всех бюллетеней. Я тоже, честно говоря, ее прихватил и выбросил в дерьмо. Ну, да и вы сами ведь передали моей жене записку, где я просил ее вывезти материалы [«Бюллетеня В»]. (А я действительно ей написал записку, которую он не понял.) Я думаю, что моему соседу это будет очень интересно, потому что он человек доверчивый, в Чистопольской тюрьме есть представители КГБ, они еще с кем-нибудь еще поделаются, может быть, звездочку получают и ко мне будут хорошо относиться. Да и вы, представляете себе, каким известным человеком станете? Вы, наверное, попадете в учебник рязанской школы КГБ о том, как не надо проводить обыски». (Смеются.) Он не мог слова сказать, вы знаете, как это трудно. В общем, отплатил ему, как я считал, всласть.

Этап

А после чего на следующий день меня действительно вывезли, причем на этот раз меня везли не общим этапом, а отдельным конвоем. Ко мне был приставлен майор, к нему было приставлено еще два прапорщика, и вот троим они меня везли. То есть поэтому уже ни в каких общих камерах, ни в каких пересылках я не был. То есть если они меня привозили в пересылку, то только чтобы переночевать.

С. П.: Так вы ехали просто обычным поездом?

С. Г.: Нет, в «столыпине», в «тройнике». Сержанты, стоявшие около моего «тройника» следили за тем, чтобы я не разговаривал с другими, а майор следил за тем, чтобы сержанты не разговаривали со мной.

С. П.: Понятно. Интересно, кто же следил за майором?

С. Г.: Ну вот это они упустили. Потому что майор оказался очень приличным, надо сказать, потому что в результате мы днем ехали, где-то ночевали и уже с утра ехали каким-то другим [поездом]. В общем, мы в Чистополь добрались не за два месяца, а за три дня. Где-то меня держали опять-таки одного в камерах для приговоренных к высшей мере, где-то еще как-то, в общем, по-разному. Никого в этот раз я не видел, кроме одного человека. Мы приехали в Рязань часов в семь, наверное, вечера. Был хороший тридцатиградусный мороз, это был январь.

С. П.: Это конец 83-го года, получается?

С. Г.: Рубеж 83-го и 84-го года. Это была чудовищно холодная зима опять. Опять очень холодная зима, но кроме этого раза на мне это не сказалось. Меня захихнули в какую-то большую камеру такую, совершенно пустую. Бетонный пол, бетонные стены. И совершенно очевидно, что она не отапливается, холодная такая.



А я был уже опытный зэк, я был довольно тепло одет. У меня уже ноги, а может быть, и руки, были замотаны газетой под бельем.

И у меня уже были не помню откуда, по-моему жена, кто-то ей посоветовал, были ватные штаны. То есть я был приготовлен к этапу. Но тут они меня вбросили в эту камеру, и сначала мне было сказано, ну, вот разберемся там... А в это время, меня привезли с какого-то столыпинского вагона, и там было много других заключенных. И мельком сказал: «Ну, вот разберемся с другими, дойдет очередь и до тебя», примерно так. Проходит часа три (в десять часов отбой), уже отбой, никто совершенно

не собирается меня... И в конце концов, быть все время на ногах в камере тоже довольно тяжело. Я чего-то попробовал постучать, побарабанить, мне говорят: «Не до тебя». Я попробовал лечь на бетонный пол. Я считал, что я довольно тепло одет. И довольно быстро понял, что я замерзну. И тогда я начал барабанить уже всерьез и изо всех сил, и там нашелся какой-то молодой ДПНТ (ДПНТ — это дежурный помощник начальника тюрьмы). Дежурный помощник начальника тюрьмы — это как бы торжественно звучит, а на самом деле это самая низкая работа в тюрьме. Это, как правило, молодые лейтенанты. Дальше есть всякие более торжественные должности, а это начинающие. Но приличные был этот молодой, потому что до этого мне кто-то грубым таким голосом отвечал: «А, пошел ты, кто тобой будет заниматься, сиди...» А этот молодой лейтенант, очевидно, к тому же, понимая ситуацию, тем не менее позвонил в гостиницу, вызвал моего майора, который в двенадцать часов ночи приехал и несмотря на вполне очевидное чье-то сопротивление перевел меня из этой ледяной камеры в просто коридорчик для тех, кто приговорен к высшей мере. И потом в шесть часов или в пять часов (этапы раньше поднимаются, чем другие) меня поднимает опять-таки ДПНТ, но не молодой, а какой-то, по-видимому, тот самый, который не хотел выводить меня из той камеры (судя по голосу). Который, конечно, мне тыкает, я же все время всех заставлял говорить мне «вы», во всех тюрьмах и всегда, на «ты» я был только со своими соседями по камере, и то мне было довольно трудно, потому что автоматически я говорил «вы».



А говорить «вы» соседу по камере нельзя: это точно будет неправильно понято.

Зато от всех остальных, от охранников, от всех я требовал довольно успешно всегда, чтобы мне говорили только «вы». Этот, конечно, «тыкает», я ему говорю: «Надо вести себя прилично». Смотрю смело. Он очень странный. Он ДПНТ, но майор. ДПНТ не бывают майорами. Еще к тому же ему лет пятьдесят.

С. П.: Для майора это многовато.

С. Г.: Это для ДПНТ многовато. Майорами по-всякому бывают. И учитывая, что он держал меня в этой камере, я вдруг соображаю: то, что я услышал от этого Аваяна еще во время следствия по первому делу, о Златоустовской тюрьме, в которой был кум, заморозивший сто человек. Я вдруг соображаю и говорю: «Так вы что, из Златоуста?» Его не арестовали, его только понизили в должности за сто погибших людей. Он мне так откровенно говорит: «Ну, попался бы ты мне в Златоусте, я бы тебя поморозил!»

С. П.: Надо же!

С. Г.: Ну, и мы едем дальше. Приезжаем в Чистополь. Ахмадеев, который тоже меня помнит уже, начальник тюрьмы, никак не может понять: «Григорьянц, а почему вас возят со спецконвоем?» Я говорю: «Ну, это вы у них спросите, не у меня». Начинается чистопольская жизнь. А четыре с половиной года — в уже совсем другой тюрьме.

С. П.: Давайте, может быть, здесь паузу сделаем?

С. Г.: Ну, давайте.